

В. ОСКОЦКИЙ

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИГРАЛИЩА» ИЛИ ТОТАЛЬНЫЙ НИГИЛИЗМ

В статье «Освобождение», посвященной роману Михаила Алексеева «Драчуны», критик М. Лобанов пишет, что разбор этого произведения (как, заметим, и любого другого романа) «требует своей среды, своего литературно-исторического контекста». Против этого трудно возразить. При том, однако, не-пременном условии, что «среда» и «контекст» не выглядят неузнаваемо искаженными, до уродливости-окарикатуренными, не становятся кривым зеркалом, в котором и история, и современный опыт литературы предстают в удобном критику произвольном, заведомо ложном освещении.

Таким необходимым условием объективного анализа демонстративно пренебрег М. Лобанов. Своевольно противопоставив роман «Драчуны» всей прозе о деревне (да и не только прозе, и не только о деревне), созданный как по горячему следу событий коллективизации непосредственно в 30-е годы, так и в последующие 40—50-е и 60—70-е годы, он расписал на редкость непривлекательную картину лукавой полуправды и откровенной неправды, которыми будто бы «заявляет о себе в первую очередь то, что принято называть новаторством советской литературы».

Новаторство, по Лобанову, — некий опознавательный знак схоластичного умствования, умозрительной схемы, которым, мол, противится «извечная традиция русской литературы — утверждение положительной, созидательной основы в крестьянстве». А поскольку, по Лобанову, вся она, «великая русская литература, родилась из недр крестьянской, народной жизни», то, стало быть, «пафос идей», сделавшийся «как бы своеобразной действительностью в литературе» советской, не отвечал и самой жизни.

Каких идей? — вправа уточнить мы. Не оставляя нас в неведении на сей счет, М. Лобанов охотно поясняет: восприятие «пафоса строительства» (или перестройки, ломки, разрушения, как не раз будет варьироваться в дальнейшем) дано «столько «массового», патетического и так мало конкретно-бытового, что градирующим поколениям будет крайне трудно составить себе верное «представление по советской литературе о нашем быте, скажем, тридцатых годов». Не отвечает, по мнению критика, народному опыту и «скудость исторического освещения в литературе» гражданской войны. Ориентируясь и в том, и в другом случаях на «третью действительность», литература, полагает М. Лобанов, так далеко ушла от первичной реальности жизни, что не сумела «целиком и полностью охватить эпоху. Да что там эпоху! Даже и об отдельных событиях можно сказать: черпать их — не перемерять. Писал о гражданской войне в Сибири, например, Вс. Иванов. Но можем ли мы сказать, что после повести «Партизаны» этого автора нечего уж и сказать о гражданской войне в Сибири?» (Отметим в скобках: конечно же, литературе есть что сказать и после Вс. Иванова, невеста почему взято-го мишенью для осуждения. Как,

к примеру, и об Отечественной войне 1812 года даже после «Войны и мира»...).

Таков ход критической мысли. Не имея возможности — в пределах газетной полемики — войти во все ее ответвления-лабиринты, проследить все причудливые извивы, оставлю в стороне большинство иронических или саркастических «шпильек» — от ударов рапирами до булавоных уколов, — которыми разгоряченный критик готов сокрушать Шолохова, Твардовского, Эренбурга, прямым попаданием или рикошетом разить П. Нилина, Ф. Абрамова, В. Тендрякова, В. Солоухина, В. Рослякова, а также не поименованных гласно писателей, объединенных в «секцию детской литературы». К тому же всех «шпильек», как ни старайся, не выловить. «Сколько мы знаем рассказов о лошадях, собаках и прочих животных, иные авторы претендуют даже на тонкое понимание собачьей психологии», — ядовито роняет однажды М. Лобанов. Вот и гадай, в кого он метит — в Муму, Каштанку или Бима?.. Остановимся поэтому лишь на том главном, что проливает свет на методологию критического произвола.

Красноречивый образец такого произвола — изложенная в статье теоретическая история «Страны Муравьев». С легкостью пренебрегая всем, что сказано о поэме А. Твардовским, критик вопреки ему представляет дело как нельзя примитивнее: прочел поэт «Брусники» Ф. Панферова и пересказал стихами соответствующий эпизод, придав ему «план несколько условный». Закавыченные слова должны, видимо, укрепить иллюзию, будто суждения критика опираются на свидетельства поэта. Но не ищите их в статье А. Твардовского «О «Стране Муравьев», хотя именно ее имеет в виду М. Лобанов. И не спешите соглашаться с ним, и впрямь встретив в статье доверительное признание: «Страна Муравья» была задумана «под непосредственным воздействием извне», «была подсказана» А. Фадеевым, сославшись на «Брусники» в одной из речей 1934 года, «хотя эта подсказка не была обращена ко мне лично и не имела в виду жанр поэмы». В том и суть, что внешнее воздействие пришлось на почву, подготовленную внутренним развитием поэта. Там более «горячо воспринял» А. Твардовский «возможность сюжета, взятого из книги одного писателя и изложенного... другим писателем», что это помогло выразить личный («личный!») жизненный материал, которым он «располагал в избытке», дано выход «настоятельной потребности» высказать то, что он сам знал «о крестьянине и колхозе». Случай, как видим, вовсе не приминальный; ближайшим аналогом ему в русской классике могут служить подсказанные Пушкиным замыслы «Ревизора» и «Мертвых душ», в классике зарубежной — нескрываемо цитатный диалог Адриана Лервенюна с чертом, восходящий, по свидетельству Томаса Манна, к видению Ивана Карамзина, а в литературе советской — образная реминисценция «вишневого омута» в одноименном романе М. Алексеева, идущая от ключевого образа «русского леса» у Леонида Леонова: «параллель», но без противоречия себе одобренная М. Лобановым...

Так чаще всего обстоит у него с фактологической основой статьи. Удобно обличить «множество книг о всякого рода стройках с установкой, так сказать, на масштабное изображение происходящего, когда в фокусе внимания оказывалась приведенная в действие целая ар-

мия строителей, перевыполняющих план», — ничто не удержит от облыжного заключения: «Хотелось бы, конечно, за ворочающейся массой разглядеть человека, узнать, кто он, откуда, что у него на душе. Но это могло сойти за частность в сравнении с грандиозностью общей строительной картины». Слово и не в ней были увидены Александром Малышкиным «люди из захолустья»!.. Нужно провозгласить напроломную мысль о том, что вековой бытовой, нравственный уклад крестьянской жизни исторически выступал в литературе «тыловым» обеспечением «положительных сил», — тут же следуют многословные эскапады, ближайшим полемическим адресом имеющие общечеловеческие и вокальные, а отдаленным, не ахти как хитроумно замаскированным — самое историческое: «Не может быть бытом общечеловеческая свалка, миграция, вокзальное коловращение людской массы». Как будто не из человеческих «коловращений», возникших на гребне исторических потрясений, пришли в литературу разных лет сюжетные мотивы, идеи и образы «Хождения по мукам» или «Живых и мертвых».

Воистину: что хочу, то и ворочу. Могу-де без обиняков заявить, например, что с «традиционно русской» почвой исключительно связана так называемая «деревенская проза», а все остальное — от лукавого, ушло «в песок». Если же вдруг мне напомнят о прозе, скажем, Юрия Трифонова или Даниила Гранина, Юрия Бондарева или Григория Бакланова (что они — «новаторы», оторвавшиеся от отечественных традиций?), отвечу: моя система концептуальных построений вообще не берет в расчет их творчества. Как не берет в расчет и множества других невыгодных для меня фактов литературной истории и современности, которые попросту не существуют, коль скоро грозят опрокинуть мою глобальную концепцию.

Поменные бы такой глобальности, побольше бы внимания к живой конкретике и литературы, и жизни! Глядишь бы, и убедело оно от выкрутасов дилетантизма, выдающих теорию напрокат, эрудицию наспех.

Никто, скажем, не спорит: русская классика действительно выразила «историческое состояние русского народа, с историческими же, как у Достоевского, предвидениями». В этом смысле наша классическая литература стала в большой мере истинным не только русской философской мысли, но и важных исторических свидетельств. Немного, однако, отстает от этих неоспоримых истин, едва М. Лобанов опрокидывает их в историю, погружает в опыт литературы. Мало того, что и в русской классике находятся неуместные ему фигуры, с которыми «повольно и того, чтобы быть Григорьевичем». Даже такие ее вершины, как Пушкин, Достоевский, Толстой, представлены в масштабах смущенных и уменьшенных. Что Пушкин с Ариной Родионовной, но без де-набристов? Или Достоевский, чей нравственный идеал непосредственно выведен из мира крестьянской жизни? Общеизвестно: не этому миру социальное и духовно принадлежит и князь Мышкин, задуманный как образ «положительно преко-настного человека», и Алеша Карамазов, которому по одному из вариантов замысла предстояло в последующих книгах романа стать «бунтовщиком» и погибнуть на царской виселице.

Не иначе как в ореоле «бесплодного отрицания», или, по выражению Достоевского, «нигилизма», выводит М. Лобанов скептицизм и «исторический» представителей демократического лагеря общественной мысли, не останавливаясь и перед тем, чтобы навести, как говорится, тень на плетень. Уместно в этой связи напомнить автору, не озабоченному точностью аттестаций и формулировок, что «Философические письма» скептика-нигилиста Надаева вошли в русскую жизнь «выстрелом, раздавшимся в темную ночь» николаевской реакции (Герцен), и сохранили за собой непреходящее значение «грозной проповеди революционера» (Плеханов), а «печально знаменитый Печерин», блестящий профессор-эллинист Московского университета, о духовной драме которого пристало говорить так же достойно, как сказано о ней в «Былом и грядущем», был автором антикрепостнической и антисамодержавной поэмы-мистерии «Торжество смерти», впервые напечатанной Герценом и Огаревым в «Поларной звезде» и затем включенной ими в сборник «Русская потаенная литература».

Бесспорно: литература — свидетельство истории. Но почему так избирателен, так предвзят М. Лобанов к ее объективным «показаниям», решительно им отвергаемым в противовес неким «ультрасовременным умникам»? Так, рассуждая о «справедливой» крестьянской жизни, незамутненных устоях ее бытового уклада, психологии и нравственности — словно и не шли никогда в старину с дрекольем в руках дом на дом, улица на улицу, деревня на деревню и ни семья, ни община не знали в прошлом деспотов-самодуров, — идиллически настроенный критик впадает в экзистенциальный пафос, поразительно близкий тому «удивительно миловидному направлению», с которым убежденно спорил в свое время такой авторитетный знаток русской деревни, как Глеб Успенский. Не поэтизируемые оппонентами-почвенниками «непочатые углы смиренного мудрия и целомудрия» находил он в «правдышной» жизни народа, а обобщенное литературным вниманием «горе сел, дорог и городов, горе деревенской избы, деревенской женщины, горе лошадиного и бесплодного труда, горе бесплодных страданий». Чем не свидетельство литературы о народной истории, которым невольно пренебрегать современному критику? Как невольно обходить стороной и свидетельства, подобные чеховским «Мужикам». Нет у нас права на такую беспамятность. Не идеальная, спустя эпохи созданная благодушным воображением, а реальная русская деревня рубежа веков напоминает о себе щемящей строкой Блока: «Россия, нищая Россия», которая даже лексически отозвалась затем в мироощущении Есенина: «Полевая Россия! Довольно волочиться сохой по полям! Нищету таю видеть больно и березам и тополям. Я не знаю, что будет со мною... Может, в новую жизнь не гоюсь, но и все же хочу я стально видеть бедную, нищую Русь»...

Сопоставим с этим исповеданием поэта, крестьянскому опыту которого вряд ли не доверяет и М. Лобанов, нынешнюю иронию критика над замарашкой «Фордзоном» — разительны перепады в уровнях исторического сознания, социального чувства. И это не удивительно: жестко требуя от других историзма художественной и научной мысли, самому себе М. Лобанов позволяет быть на редкость неисторичным. Его беззаботность, порожденная одержимой защитой «патриархального начала» деревенского бытия, не ведает пределов и зачастую оборачивается самоочевидными курьезами. Вплоть до осуждения питейского рабочего Давыдова, который явил якобы «символ нового, волевого отношения к людям».

История лишена возможности осуществлять параллельные экс-

перименты. Все, что ни происходит в ней, свершается раз навсегда, и бесполезно гадать, что и как стало бы, случись все не так, а иначе. Переосмысливать прошлое, извлекать его социальные и нравственные уроки необходимо, но перекраивать на свой вкус и лад задним числом — злая зряшная и праздная, отдающая историческим волюнтаризмом. И одновременно — ребяческим инфантилизмом, годным для эпатажирующей самооткатки. Можно сколько угодно называть «контуженным» время, относящееся к концу 20-х — началу 30-х годов, ерничать над его «небывалой новизной», но перепаханное «лемехами социального эксперимента» — под таким прозрачным псевдонимом выступает у М. Лобанова коллективизация, — оно уже не повернет вспять. Что же до его исторических драм, якобы напрочь не замеченных нашей литературой, то скажем об этом словами Сергея Залыгина, произнесенными по сходному поводу на одной из встреч с зарубежными писателями:

«Резолюция, без сомнения, требует многих жертв. Наши противники, противники революционных преобразований, время от времени нам об этом напоминают. Но примечательна вот какая факт: кто сказал о революции наиболее впечатляющее слово? Во всяком случае, не ее противники. Трагическую сторону революции, всю ее горечь понесенных во имя ее жертв воссоздали ее участники, ее приверженцы. Если мы возьмем, к примеру, такие произведения, как «Разгром» Фадеева, или книги Шолохова, или «Железный поток» Серафимовича, то увидим, что трагизм изображения в них значительно превосходит все, что было сказано об этом кем бы то ни было».

Сознаю: приведенное суждение вряд ли авторитетно для М. Лобанова, коль скоро и лучшие произведения Залыгина — «На Иртыше», «Соленая Падь», «Коммиссия» — угодили в разряд «эмпирических» — рационалистических, ибо (доказательствами себя критик, как всегда, не утруждает) не внесли они «ничего реального в историю литературы». Но это говорит лишь о том, что сравнения одних творческих исканий с другими полезны только тогда, когда они непредвзятые и не вызваны злонамерением критика любой ценой «покатать» в нокаут неугодных писателей.

Среди них и В. Крупин, жестоко порицаемый за то, что признал справедливой критику своей повести «Сороковой день». Однако то, что принято М. Лобановым за беспринципность, продемонстрированную к тому же «блестящим образом», справедливо отнести к обнадешивающим симптомам не только писательского уважения к критиком, участвовавшим в обсуждении его творчества, но и самокритического отношения к собственному труду, не освобожденному вовремя от наслоений «на-носного и случайного». Будем надеяться, что такой урок пойдет впредь. И жалко, если, не в пример писателю, его не решится извлечь критик, которому пока что недостало мужества обратиться на самого себя своевременный и верный призыв к социально-ответственному, нравственно-взыскующему слову.

Впрочем, об этом следовало бы задуматься не одному ему, но и журналу «Волга», поспешно принявшему «литературные игральщища» М. Лобанова за «искренность... тона, чувство глубокой озабоченности, с которым он анализирует важнейшие процессы современной русской литературы»... Слово и неведомо было журналу, что между ложными концепциями статьи, с позиций некоего тотального нигилизма ревизирующей как историю советской литературы, так и ее современной идейно-художественный опыт, и литературно-критическим анализом, каким бы строгим, взыскательным он ни был, лежит дистанция поистине огромного размера.